

# Анатолий Байбородин

г. Иркутск

## Утром небо плакало, а ночью выпал снег

Рассказ-притча

*Уже бо и секира при корене древа лежит:  
всякое бо древо, еже не творит плода добра,  
посекаемо бывает и во огонь вметаемо.*

*Евангелие от Матфея (3:10)*

По городу брёл старик. Желтоватое лицо его замерло в ласковом, горнем покое. Глаза водянисто синели, слезились, словно мироточили, и безмолвно, отрешённо смотрели на город из-под лопнувшего козырька чудом выжившей, тёмно-зелёной, с жёлтым околышем, казачьей фуражки.

Старик, в церковном приходе дед Егор, вышел из храма, где накануне соборовался, а на заутрене исповедался, причастился Святых даров, и ныне светилось иконным ликом его усохшее и костистое лицо. Сунув фуражку под ремень, коим по старинке перепоясывал рубаху, где устало светилась медаль «За отвагу», запахнул чиненое-перечиненное линялое серое пальто, трижды перекрестился, трижды, касаясь перстом оземь, поклонился крестам да куполам и, прошептал Иисусову молитву увядшими, синеватыми губами, малое время посидел на студёной каменной паперти среди убогих. Но не христарадничал, как обычно, не просил милостыню Христа ради, а лишь присел, чтобы после заутрени утихомирилась дрожь в коленях; затем встал, с хрустом разогнул немеющую спину и побрёл, томительно шаркая подошвами порыжевших яловых сапог с морщинами на голенищах. И Бог весть, куда поковылял на измождённых, сношенных ногах старый казак, в душе коего ещё звучала ангельским эхом просительная ектенья: «Христианския кончины живота нашего, безболезненны, не постыдны, мирны и доброго ответа на Страшнем Судиши Христове просим...» Уже случалось, убогий старик напрочь забывал халупу, по самые ставни вросшую в землю, где коротал век у сестры-бобылки, и лишь чудом подворачивался поводырь, который доводил его до жилья. Нынче никто не подворачивался, и старик брёл неведомо куда, словно в грядущую вечность.

Городище заволокла пепельная мгла; небо, набухшее мороком, тяжело и сумрачно лежало на крышах каменных домов, и лишь призрачно светились в поднебесье купола Крестовоздвиженского храма. Накануне Дня Казанской иконы Божией Матери было тепло и грязно – перед заутреней моросил дождь. Но старик помнил, что в его казачьей станице, давно уже сгинувшей, старики судачили: ежели на Казанскую небо плачет, вслед за дождём поспеет снег.

Осеннюю грязь месили сотни сапог и полусапог, озабоченных и суетливых. Ногастая, похожая на болотную цаплю, долговязая девица прыгнула из парикмахерской, сослепу ткнулась в старика, испуганно шарахнулась и оторопела, заглянув в разверстую стылую могилу. Но тут же очнувшись, когтистыми пальцами манерно помахала возле брезгливо сморщенного носа и всунулась в тупорылую заморскую машину. Старик хотел вымолвить... доброе слово колыхнуло тёплым дыханием запавшие губы... но не успел и теперь виновато глядел вслед машине, обдавшей его вонючим жаром.

Старик брёл по городу; авоськи и баулы испуганно обтекали его. Под стариковское пальто поддувал сырой ветер; он же порой зло теребил и вздымал по-младенчески пушистые и насквозь проглядные инистые волосы, обнажая овраги висков, какие бывают у лошадей, когда они падают в изнеможении.

*...Осенью сорок первого волочились солдаты, отходя в российскую глубь по грязным и топким, разбитым дорогам. Пала в обозе надсаженная лошадь, и молоденький лейтенант, матерками отгоняя жаль, своеручно пристрелил коня; и старик — тогда ещё не мужик и уже не парень — глядел на палую лошадь сквозь слёзную заволочь, ибо рос в казачьей станице при конях и служил в обозе. Потом нагляделся на смерти; и слезы, пролившись в душу, оледенели, и лишь послевоенные жаркие молитвы растопили лёд, и слезы пролились в душу тёплым дождём, и любовь, робкая, словно майские травы, взошла в измаянном казачьем сердце.*

\* \* \*

По городу волочился выживший из ума облезлый пёс, которого хозяин взашей выпихнул со двора; вначале увёз на городскую свалку, где среди пёстрога людского хлама шатались... тени из преисподней... тощие одичавшие псы с измождённой сукой — обвисшее, докрасна воспалённое, истерзанное сучье вымя тащилося по мусорным холмам. Хозяин вышел из чёрной, слепящее-сияющей легковушки и надтреснутым, прерывистым голосом поманил пса: «Дружок!..», и собака сползла с заднего сиденья, присела подле хозяина, а тот закурил, брезгливо косясь на свалку. «Пристрелить бы...» — вслух подумал хозяин, потом нервно кинул сигарету, растёр сапогом и, хлопнув дверцей, быстро поехал. Пёс, ещё ничего не понимающий, заковылял было следом на остаревших лапах, но тут же, запыхавшись, высунув красный, парящий язык, остановился и долго смотрел в ту сторону, где пропала машина с хозяином. Друг не понял убогим собачьим рассудком, отчего хозяин оставил его на свалке, а чтобы не рвать душу горькими думами, поплёлся в город.

Вскоре, отощавший, кожа да кости, измученный, лежал у калитки, возле богатого подворья, кое сторожил весь свой собачий век. Когда хозяин заметил Дружка, то в сердцах, уже не церемонясь, погнал от калитки, безбожно кляня старую псину-пропастину. Пёс, выстилаясь по земле, ещё полз к хозяину, в котором души не чаял, и даже хотел облизать пыльные сапоги, виновато и заискивающе глядя в остуженные хозяйские глаза. Но хозяин прихватил суковатую палку и отогнал Дружка подальше от калитки, за которой носилась и гремела молодым лаем чёрная немецкая сука.

И пёс понял, что, верно и любовно отслужив собачий век, больше не нужен родным людям; а посему, не чая тёплой похлёбки, мягкой подстилки, хозяйской ласки, поплёлся, не ведая куда и зачем.

\* \* \*

По Большой улице, прозванной Бродом, тупо и медленно, сплошным и грозным потоком, словно в атаку, ползли машины; хищно сверкали нездешней, несвальной пестротой, сыто, но жадно урчали; и колыхался над ними тяжкий угарный гул. Но для старика уже все стихло, и вместо уличного гула из пепельной, миражной бездонности... из-под церковного купола, с голубых небес... сухим и тёплым ладаном наплывали покойные, ясные звуки и, похожие на далёкий-далёкий перезвон колокольный, грели стариковскую душу.

*Такие же небесные звуки хлынули на русских солдат, когда со скрежетом распахнулись ворота немецкого лагеря — в синюю небесность, словно в церковный купол; и шли они, равнодушные к жизни, — может, не люди, а светлые тени, оставившие плоть позади, где бездымно темнели печи, — редкие зубы в провале старческого рта, черные и голые деревья на пожарище. И шёл среди теней старик — тогда ещё мужик, но уже присыпанный старческим пеплом...*

\* \* \*

Старый пёс... теперь уже бездомный, бродячий... плелся по городу, припадал на ослабшие хворые лапы и, робко, просительно, с вялой надеждой заглядывая в подворотни старгородских одряхлевших усадеб, высмотрел, как, чужеродно выпячиваясь из унылой ветхости, степенно похаживал дог, под гладкой, лоснящейся кожей которого дыбились, властно играла упругая злая сила.

Ветхому псу привиделось дальше, гаснущее в сумраке лет, когда он, молодой и матёрый, но смиренный и заласканный детвой, без клича оборонил хозяина, рискуя в прыжке угодить на зловеще сверкнувший нож. И пёс был счастлив редкой удаче — спас хозяина, выказал собачью преданность; и он бы захлебнулся в предсмертном восторге, если бы, заслонив друга, пал наземь, истекая дымящейся кровью.

Дог настороженно замер у черных тесовых ворот, двускатно крытых древним драпьем. А тут из калитки, лёгкая, словно одуванчик, вприпрыжку выбежала светлая девчушка и, хлопая ковыльными ресницами, уставилась на печального старого пса. Потом улыбнулась... посреди осенней мороси желтовато засветилось летнее солнышко... залепетала, пришепётывая, на детском поговоре, сунула псу надкушенный пряник, и пёс бережно взял угощение, прижал губами, но не сглотил — от удивления, робости и смущения. Девчушка присела на корточки, погладила пса, все так же лепечала... шелестели на тихом ветру полевые цветы и травы... и пёс неожиданно улёгся перед ней, положил морду на лапы и блаженно прикрыл слезящиеся усталые глаза.

Долго ли, коротко ли тянулось собачье блаженство, но из калитки торопливо вышла женщина — похоже, мать девчушки, — ярко наряженная, но раздражённая, и презрительно глянула на пса, потом схватила дочь за руку, прошипела:

— Ты что, хочешь заразу подхватить?! А ну, пошла отсюда, псина!.. помойка ходячая! — замахнулась на пса и ворчливо сказала дочери: — Пошли скорей, а то опоздаю из-за тебя...

Подволакивая захныкавшую девчушку, женщина засемила по старой улице, нервно стуча острыми копытами в деревянный тротуар. Тем временем дог, враждебно щурясь, со зловещей неторопливостью, вкрадчиво пошёл на бродячего пса, и тому ничего не оставалось, как уносить лапы от греха подальше.

\* \* \*

...Людская река выплеснула старика к торговым рядам, где осиными гнездами лепились лавки, где торговали нерусским, режущим глаза, а чем — старик, впавший в станичное отрочество, уже давно не разумел древним разумением. И раньше, вглядываясь в небеса, глядел сквозь пёстрые лавки, а ныне и подавно. Хотя вдруг удивлённо замер возле молодой цыганки с черными до жгучей синевы, текущими на плечи, густыми волосами, с ночными глазами, в омутной глубине которых вспыхивали искусом и гасли зеленоватые огоньки. Торговка скалила бело-пенистые зубы, потряхивала вольной, полуоткрытой грудью и, весело заманивая покупателей, продавала медные нательные крестики с распятым Христом, что свисали с руки на блестящих цепочках. Парни в толстых мешковатых штанах мялись подле цыганки, весело и бойко приглашали в ближний трактир. Торговка, играя плечами, постреливала сумеречными глазами, и с губ ее, пухлых, вывороченных наружу, не сползала сулящая улыбка. Но когда парни со смехом и гомоном подались прочь, осерчавшая цыганка плюнула им вслед, замешав плевков на забористом русском мате. Тут же в сердцах набросилась на старика:

— А ты чего здесь торчишь, старый...?! — цыганка ввернула словцо, от коего вянут, словно прибитые инеем, даже крепкие мужичьи уши, и старик, хоть и не обиделся, всё же пошёл от греха. Учувя стылый ветер, нахлобучил древнюю казачью фуражку, кою давно уж тербил в руках.

\* \* \*

Подле «Рюмочной» старик загляделся на тощего, белобрысого христарадника, что заунывно играл на гармошке и сипло, слезливо пел в свисающие подковой, до рыжа прокуренные казачьи усы:

...Мне во сне привиделось,  
Будто конь мой вороной,  
Разыгрался, расплясался,  
Ой, разрезвился подо мною...  
Ой, налетели буйны ветры,  
Да с восточной стороны,  
И сорвали чёрну шапку  
С моей буйной головы...  
А есаул догадлив был,  
Он быстро сон мой отгадал,  
Ой, пропадёт он говорит.  
Твоя буйна голова...

Старик чудом вспомнил: на престольный праздник в память святого мученика Георгия Победоносца батька-атаман, бывало, выкатывал бочонок браги, а казачки накрывали столы посереде станичного майдана, и отец, голосистый певень, певал про буйную головушку. Старик узрел в сизых небесах и мать родимую: притулилась с краю печально поющего застолья; увидел и себя, малого, — оробело жмётся к материнной груди, опасливо косясь на родичей, станичников, дивясь на поющего отца. «Чёрного ворона» выплакивал хмельной отец, бывший белый казак; стонал, обнимая кровного брата, бывшего красного казака, коего чудом не засек под городом Читой, когда свершилось святое провиденье: «Предаст же брат брата на смерть, и отец чадо; и восстанут чада на родители и убьют их...»

Пел отец, незряче глядя в заречные поля... слезы туманили глаза... пел, подперев ладонью бедовую головушку, вороную, ныне до срока усыпанную стылым пеплом:

Под ракитою зелёной,  
Русский раненый лежал,  
Над ним вился чёрный ворон,  
Чуя лакомый кусок...

Ты не вейся, чёрный ворон,  
Над моею головой,  
Ты добычи не добьёшься,  
Я казак ещё живой...

Окружённые домочадцами и станичниками, братья гуляли в ограде, вольной, поросшей зелёной щетиной и цветами-желтырями; братья... крутоплечие, приземистые карымы<sup>1</sup>... скорбно пели под раскидистой черёмухой, осыпающей белый цвет на столешню, крытую серой льняной скатертью, на которой не красовались, как бывало, щедрые наедки и напитки, но сиротливо ютились печёные картохи, меднобокие караси, лишь сочно зеленели пучки вешней черемши да голубовато мерцала в крынках соковица<sup>2</sup>. В досельную пору к Егорию Тёплому казаки ловили петлями косачей либо глухарей, когда у птиц свадебный ток, а сейчас не до косачей, глухарей; ныне казаки гадали, как выжить после великой порухи, как душу утихомирить после кровавой смуты.

С высокого станового берега Ингоды, где вальяжно раскинулась станица, где на отшибе желтел дом отца, виделось, как в долине, изогнутая луком, серебрилась полуденная река, тающая в зеленовато-буром сумраке таёжных хребтов. Братья, на святого Егория Победоносца обрядившись в казачью справу, пристегнув шашки, пели сумрачно, с заведомой тоской вглядываясь в ингодинскую долину, в синеющие заречные хребты; братья чуяли: завтра белого казака отпотчуют свинцом, прислонив к тюремной стенке, послезавтра красного казака расказачат и раскулачат, под конвоем пошлют в Черемховские угольные копи и вместо шашки всучат кайло.

Но се завтра, а ныне – Егорий Храбрый, чьим святым имечком и окрестили малого; а когда подрос Егорша, дед ста лет плёл внуку казачью старину:

– У Ягория, света, Храбра, по локоть руки в красной замше, по колено ноги у чистом сярябре, а во лбу-то, паря, солнце, во тылу месяц, по косицам звезды переходящие... А в руськом царстве, Христовом государстве обрятался подле озера Змей Поганый, что поядал дявиц руських. И выпала лихая доля деве подвянечной; взмолилась дева Иисусу Христу и Мати Марии да святым угодничкам, и по вере слятел с нябес Егорий Храбрый на белом коне. Ох, и оробел же, паря, Змей Поганый, стал лизать конски копыта, а святой воитель заколол яго казачьей пикой. О!.. С досюльных времян, паря, и носится Ягорий Храбрый по бедам — Побядоносец же... Юрию... он же Ягорий будеть... даданы ключи от неба и земли, и святой атаман отпирает небо, даёт волю солнцу, а звёздам силу. Так от, Ягорша... Ягорий Вешний землю отмыкат, рысит по лясам на белом коне, зверьми повелеват. Что у волка в зубах, то Ягорий дал... Ягорий Храбрый и от волков скот обрягал.

1. Карымы – русские, чернявые, помешанные с тунгусами или бурятами.

2. Соковица – березовый сок.

Вспомнились старику отроческие потехи: перед выгоном скота на вольный выпас, Егорша шатался с казачатами по усадьбам и под шергунцы<sup>3</sup>, трензели<sup>4</sup>, бубны и барабанки распевал «Батюшку Егория»:

Мы ранешенько вставали,  
Белы лица умывали,  
Полотенцем утирали,  
В поле ходили,  
Крясты становили,  
Крясты становили,  
Ягорья вопили:  
«Батюшка Ягорий,  
Спаси нашу скотинку,  
Всю животинку,  
В поле и за полем,  
В лясу и за лесом.  
Волку, медведю,  
Всякому зверю —  
Пень да колода,  
На раменье дорога.  
Тетушка Анфисья,  
Скоре пробудися,  
В кичку нарядися,  
Пониже окрутися,  
Подай нам по яичку,  
Подай по-другому.  
Первое яичко —  
Ягорию на свечку,  
Другое яичко —  
Нам за труды  
За ягорьевские.  
Мы ходили, хлопотали,  
Трое лаптей изодрали

Хозяева выносили мзду: яичек, пирожков и шанюжек, и с поклоном подавали казачатам, а уж казачат шукали матери: куда огольцы-сорванцы уметелили?.. опять пошли кусочничать, побируши-помируши!

А юнцом Егорша, прости, Господи, грешного, подсмотрел на рассвете Юрьева дня: станичные девы убрели за поскотину и на елани<sup>5</sup> средь березняка и осинника умывались утренней росой, а иные, озорные, дерзкие, нагими валялись на росной траве, дабы стать пригожими, словно утренняя зорька, чистыми, словно юрьева роса. А на особицу парни... суеверы, прости им, Боже Милостивый... купались в росе с надеждой быть здоровыми и сильными, яко юрьева роса.

В престольную заутреню семейство усердно молилось в белоснежной Георгиевской церкви, где красные безбожники грозились, сбив кресты, открыть клуб и читальню. После Божественной литургии, возле иконы Святого мученика Георгия Победоносца, кою возложили на аналой, батюшка отслужил молебен покровителю русских воителей:

3. *Шергунцы (шаркунцы, шеркунцы) – бубенцы, издающие глухой звон, прикрепленные на ошейнике к лошади, иногда ошейник крепился к самому хомуту.*
4. *Трензель – удила, состоящие из грызла и двух колец, за которые трензель крепят к щечным ремням уздечки; создан для того, чтобы упростить управление лошастью.*
5. *Елань – лесной луг.*

«О всехвальный, святой великочучен и чудотворче Георгие! Умоли Человеколюбца Бога, скорый помощниче всех призывающих тя, да не осудит нас, грешных, по беззаконием нашим, но да сотворит с нами по велицей Своей милости и подаст православному Отечеству нашему и всему боголюбивому воинству на супостаты одоление; да укрепит государство Российское непременяемым миром и благословением; изряднее же да оградит нас святых Ангел Своих ополчением, во еже избавитися нам, по исходе нашем из жития сего, от козней лукаваго и тяжких воздушных мытарств его, и неосужденным предстати престолу Господа славы. Аминь». Слушая попа, казаки мучительно гадали: какое воинство славит батюшка, красное иль белое? У красных верховодят жиды-хриstopродавцы; белые предали царя-батюшку, помазанника Божия, вынудив отречься от царского престола, и воевали не за Бога, царя и Отечество, а за республику, да и в сговоре с чужеземцами, что зорили Русь, губили народ русский. Эх, куда ни кинь, кругом клин...

Выйдя из храма, казаки подали милостыню христарадника, особо слепому, вопиющему:

– Во святой зямле, православной,  
Нарождается жаланное детишо  
У той ли премудрыя Софии;  
И нарякает она по имени  
Свое то детишо Гяоргий,  
По прозваньцу Храброй.  
«Соизволь, родима матушка,  
Осударыня, прямудрая София,  
Ехать мне ко зямле светло-Русской  
Утверждать веры христианские».  
И дает яму родимая матушка,  
Она ли, осударыня премудрая София,  
Свое благословение вяλικое.  
Примает он, Гяоргий Храброй,  
Ту землю светло-Русскую  
Под свой вялик покров,  
Утверждает веру крящёную  
По всей земле светло-Русской...

После богомолья колокола гулко и звонко славили Бога в небесах, и семейство прошло по широкому майдану, где на Егория Вешнего ныне, как испокон казачьего века, пестрела ярмарка: торговали шерстью, кожами, седлами, сбруями и хомутами. Отец посудачил с казаками: де, что нынть сулит Юрьев день?.. На Руси два Егория: Зимний холодный и Вешний голодный, а в лихолетье, когда погибелью и разором, словно кровавым ливнем, окатила Забайкалье война, и вовсе хоть зубы на полку. Да и рысит ныне Егорий на белом коне – не сошёл снег с полей, жди неурожай, вот ежели бы на воронном скакал... Да и не пала ночная роса; а бывало, на Егория роса – добрые проса и не треба коням овса. Егорий Вешний отпирает росу, а посему мужики и казаки выгнали коров на выпас до солнца, пока не сошла Юрьева роса; старики толковали: мол, удоистые будут коровёнки, и хворь не страшна.

Слышались старику дальние казачьи голоса:

– Сена-то, паря, хватат? До Николы дотянешь? Bravo ж накосил...

– Кого, паря, bravo?! – казак досадливо чешет затылок, сдвинув фуражку. – Труха осталась... Снег путём ня сошёл, на голую пажить скота выгнал...

– Копытят... – усмехается в смолистую бороду домовитый казак. – Верно господи старики баяли: сена достаёт у дурня до Юрья, а у разумного до Николы... А ярицу-то посеял? Говорят же: сей, пока чярёмуха цветёт.

– Не-е, паря, рано. Студёная земля, не отошла. Ночью – заморозки...

– Оно и ладно. Старики же толковали: в ночь на Ягорья пал мороз – хлеба жди воз, и под кустом овёс.

– Ага, жди... Сявец не уродит, коли Бог ня зародит.

Старик вспомнил: до престольного застолья братья по древлеказачьему чину сажали его, трёхлетнего, на гнедого коня. Вроде, в казаки верстали... Накануне мать из старенькой, сумеречно-зелёной юбочки скроила и сшила гимнастёрку, на далембовые шаровары нашила жёлтые лампасы, отец смастерил жёлтые погонишки, а дед ста лет смастерил деревянную сабельку. Об одном малый горевал, сапоги не справили, в сыромятных ичижонках сажали на коня.

Мать, синеокая, дородная, по случаю праздника в радужном семейском<sup>6</sup> сарафане, в цветастой кичке, вышла с Егоршей на высокое резное крыльцо и сквозь слёзную мглу оглядела людный двор. Отец, белый казак, держал под уздцы оседланного гнедого коня, а Егоршин крёстный, красный казак, принял малого из материнских рук, подкинул к сизым небесам, занялось детское сердчишко, словно на троицкой качели, и отпустило, когда малый очутился в седле. Ухватившись за луку седла, глянул вдаль с птичьей вышины, и глаза обмерли в диве: далеко и вольно отпахнулась казачья вольница: причудливо извивалась в зеленеющей долине серебристо голубая Ингода, синели далёкие таежные хребты, и небо в перистых облаках, где кружился одинокий коршун, казалось близким, рукой подать. В заокольном березняке кукушка куковала, Егорше век отмеряла. А над серебристой драневой крышей сновали ласточки – со дня на день вешний гром загремит.

Станичники – родичи отца и матери – придерживали и коня, и малыша. Крёстный напялил на малого свою линялую фурагу с жёлтым околышем, но фурага сползла малому на нос. И тут дед ста лет, махонький, седенький, хлопнул себя в лоб: «Совсем, паря-девка, из памяти выбился. Дырява память...» Посеменил в курень, откуда торжественно вынес белую мерлушковую папаху с малиновым верхом, самочинно сшитую как раз Егорше по голове. Подал крёстному папаху, когда тот выстриг у малого клочок волос и вручил матери, чтобы утаила на божнице.

По доброму-то, как встарь чинилось посаженье чада на коня, надо бы с благословения батюшки обвести лошадь вокруг храма, да чтоб батюшка отчитал молитву святому Егорию, небесному заступнику казачонка. Но... вьюжными ветрами налетело лихолетье, и нынешняя власть... хриstopродавцы... не жалует казачество.

Станичники присматривали: схватится за гриву – долго пуля не возьмёт, шашка не смахнёт, а захнычет, повалится с коня – рано быть убиту. Егорша и не повалился, и за гриву не уцепился, отчего дед ста лет вздохнул горестно: «Не казак растёт...», но промолчал.

\* \* \*

Город сошёл с ума, обратился в сплошную барахолку, прозванную «шанхайкой», где назойливо, крикливо, лукаво торговали азиаты и китайцы; повально кинулись продавать и перепродавать турецкое, китайское барахло и русские, словно им негде работать, словно умолкли фабрично-заводские гудки, а в губернских полях вросли в землю ржавые трактора и комбайны.

6. Семейские – старoverы Забайкалья.



Старик постоял возле широкой деревянной бабы, торгующей картошкой, моркошкой, свёклой, капустой, и опять дивом дивным узрел станицу детства и отрочества, хотел было перемолвиться с бабонькой, дескать, утром небо плакало, а ночью Господь зимушку пошлет. Но та испуганно отпрянула от старика и осенила лоб незримым крестом, почудилось жёнке, что дохнула на неё холодная пустоглазая смерть, которая нынче пошла бродить по городу. Но бабонька тут же и спохватилась, сунулась под прилавок и выудила творожную деревенскую шаньгу, затем, подумав, прибавила к ней брусничную. Гостинец, прозываемый в деревне подорожником, уложила в пакет, а коль старик стал отказываться от угощения, то и сунула ему в широкий полуоторванный карман пальто. Старик поклонился бабе и, перекрестив её, прошептал: «Милость Божия, Покров Богородицы, молитвы святых тебе, добрая душа...»

В торговых рядах гремела и билась в припадке шалая музыка, а уж на каком говоре пели, старик не разумел. Лишь горечью окатило фронтовую душу, когда в безумии звуков чётко прозвучало: «А на тебе, как на войне, а на войне, как на тебе...» Раньше одичалая музыка напоминала старику лай и рычание озверевшей, кровожадной своры собак, что сопровождали пленных русских солдат и рвались с поводков, дабы растерзать полуживых людей. Но сейчас старик не слышал магнитофонного рыка и лая; глухим нимбом обволакивали его бездумные, пахнувшие ладаном и могильным покоем, небесные звуки.

По городу брёл старик, седой, измождённый, и когда ветер распахивал пальто, изветшавшее, словно простреленное, грубо, внахлёт зачиненное, то взблёскивала фронтовая медаль на жёваном отвороте древнего пиджака, одетого поверх исподней рубахи.

Неожиданно старик свернул в сумрачную арку; утомлённо припал к грубо отёсанной каменной стене, и острые щербины впились в щеку, поросшую реденьким седым волосом. Старик оглядел арку, похожую на могильный склеп, и на глаза ему попался перевёрнутый вверх дном решетчатый ящик из-под вина — видимо, кто-то здесь уже переводил сморённый дух. Старик присел на ящик, откинулся к стене и прикрыл глаза тонкими, в синей паутине, дрожащими веками. Бог весть, долго ли тянулось обморочное забытьё, но неожиданно старик ощутил, что к рукам его, безжизненно опавшим на колени, к холодному лицу, прикоснулось ласковое, тёплое, влажное, до сладостной боли родное, приплывшее в город из далёкого ингодинского малолетства. И опять увиделось дальше, словно солнечный луг явился в предснежном сумрачном небе...

Средь высоких лиственей, позолоченная утренней зарей, кондово рубленая церковь... от купола теплый желтоватый свет... и стриженный большеголовый парнишонка бежит ромашковым лугом наперегонки с дворовым псом, мимо пасущихся коров и коней. Летит малый, не чую ног, плещется в мираже, словно в струях речных, сверкающих на солнце серебристой чешуёй; а за рекой сенокосные луга, лебяжий березняк и зоревый сосняк, где, разложив на сером рядне некорыстные харчи, поджидает его мать, высматривает отец, прислонив литовку к сенокосному шалашу, укрывшись от солнца лопатистой, чёрствой ладонью...

Ещё боясь поверить, боясь спугнуть оживающее видение, старик не открывал глаза, вытягивал наслаждение, потом медленно отпахнул веки и по-детски солнечно улыбнулся — рядом посиживал такой же ветхий, как и он, осиротевший пёс, облизавший ему лицо и руки. Младенчески беззубая и бездумная улыбка тронула синеющие стариковские губы... закатный солнечный луч согрел восковое лицо старика... и, как бывало в детстве, старик неспешно и протяжно погладил пса, почесал за ушами, висящими словно лопухи. «Ну, что, дружок, осиротел?.. Горе мыкаешь, горемычный. Голодный, поди...»

Вдруг вспомнил далёкое, забайкальское: казак, знатный охотник в станице, обозлился на собаку – мало чуху и нюху, всю охоту пустолаяла – и решил утопить в реке... отчего пожалел десять граммов свинца, старик забыл... и выплыл казак на стрежень Ингоды-реки, привязал к собачьему ошейнику камень да и кинул в багровую закатную рябь; но камень слетел... видно, в спешке худо обмотал бечевой... и пёс тут же подплыл к лодке; тогда осерчалый психованный казак... истрепал нервы на Германской войне... навернул собаку веслом, замахнулся другой раз, но не удержался и бухнулся в воду; и утонул бы... худо мужик плавал... но спасала собака: подплыла, чтобы хозяин ухватился за собачьи уши, и так с горем пополам и подчалили к берегу. О сём судачили казаки; почём купили, потом и продали...

Старик обнял бродячего пса за шею и вспомнил о подорожниках, что сунула в карман сердобольная деревенская баба; вспомнив, тут же и достал творожную шаньгу и протянул псу. «Кормись, дружок...» Пёс, подивившись, что старик ведаёт его кличку, бережно взял гостинец в зубы и, положив на землю, уставился на старика вопрошающим слезливым взглядом. Старик опять обнял бродягу за шею и, как в станичном малолетстве, прижался лицом к лохматой морде и, блаженно укрыв глаза, снова впал в забытьё.

Разбудил его посвистывающий шёпот, откуда вырывался ломкий, куражливый басок. Старик очнулся, обрёл житейскую память и, кажется, догадался, что рядом целуются молодые. Они возились близко, за углом; слышно было: умолял и клялся парень, тяжко и порывисто дышала подруга.... Не ведая зачем, старик поднялся с ящика, пошёл к молодым на одеревенелых ногах и стал молча смотреть влажно синееющими из потаённой глубины, удивлёнными глазами.

Молодые полусидели-полулежали на широкой садовой скамейке, ради греха и втиснутой промеж каменной стены и густых зарослей одичалой сирени. Прямо на земле, устланной жухлыми листьями, усыпанной сигаретными окурками и клочьями бумаги, торчали пивные банки. Молодые оторопели, словно явилось бледное, бескровное видение из тоскливого, замогильного мира; потом девушка зябко передёрнула крутыми плечами и, оттолкнув парня, села прямо, натянула юбку на голые колени. Парень, синеглазый, бритоголовый, закурил сигарету и досадливо выжидающе уставился на старика. А тот, каюсь и виноватясь, вдруг ясно и живо увидел сына, убиенного в Афганистане, давно оплаканного и отпетого... Старик подошёл к парню ближе, и, вроде погладить по плечу, потянулся ладонью, высохшей, мелко и часто вздрагивающей. Девушка испуганно качнулась, парень же оглядел пришельца от войлочных ботинок до седой головы стылмым и острым взглядом, затем процедил сквозь желтеющие фиксы:

— Топай, топай, батя!.. Здесь не подают.

То ли не расслышав, то ли не вняв просьбе, старик ещё стоял с протянутой рукой и негаснущей улыбкой, и вдруг парень покаянно опустил глаза, развёл руками:

— Прости, батя, ниче нету. Иди с Богом.

И старик, сопровождаемый бродячим псом, побрёл из глухого каменного двора, заросшего голый, тоскливой сиренью. В стариковских глазах светились слезы. Когда, обессилевши, осел на заледенелую землю и, обняв Дружка, забылся, то привиделась заснеженная, вьюжная степь, по которой, извиваясь мрачной и жалкой рекой, растянувшись на много вёрст, бредёт отступающая армия, и он, молоденький солдат, за несколько месяцев постаревший на десять лет, волочится, угибая лицо от пронизывающего ветра. Потом вдруг теплило, и, словно с небес, увидел он себя, малого, в белой посконной рубахе чуть не до пят, бегущего среди светящихся росных трав и цветов, бегущего прямо к утаённой в тумане реке, из которой выплывает румянолицое солнце.

Впереди несётся дворовый пёс... А у реки парнишку поджидают мать с отцом, чтобы, спихнув плоскодонную лодчонку, уплыть к сенокосным лугам...

К вечеру чёрное небо глухо прижало город к земле, и всю ночь до рассвета тихо и густо валил снег, и город, утопая в сугробах, вымер. Лишь слышался в торговых рядах сиплый собачий вой... Там, между двумя железными ларьками, пожилая дворничиха нашла старика, которого набожная баба всякое воскресенье видела на церковной паперти Крестовоздвиженской церкви, подавая милостыню Христа ради. Покойник, обряженный снежным саваном, глядел в небо; на восковых губах инеем застыла мольба мытаря «Боже, милостив буди мне грешному...» Рядом со стариком сидел пес, при виде живой души переставший выть.

Дворничиха, вдосталь хлебнувшая лиха на вдовьем веку, не испугалась покойника; лишь вздохнула и, сквозь заснеженный город слезливо глядя в свои печали, подумала вслух: «Слава те Господи, прибрал Бог убогого... — Дворничиха отмашисто перекрестилась на восток, перекрестила и старика. — Господи, упокой душу раба Божия... — баба не ведала старикова имени, — прими его во Царствии Своём, и прости ему прегрешения вольныя и и невольныя... Отмучился, бедолаждный. Опять же сказать, и нынешняя собачья жись — помирай ложись. Дак лучше от греха... — Баба не осмелилась продолжить, словно ангел упреждающе шепнул в душу, что не она, дворничиха, жизнью ведает, а сам Господь Бог, и грех ей вольничать, беса тешить, подманивая пустоглазую. — Опять же, крути ни крути, а надо померти... Боже Милостивый, прости мя, дуру грешную...

Дворничиха пала на колени перед стариком и, бережно опустив веки на незрячие глаза, поцеловала в ледяной лоб. Тяжко поднявшись, шумно вздохнула, глянула на старика, белого как лунь, лежащего на голубовато-белом утреннем снегу... правая рука на груди, персты сложены словно для крестного знамения, и вдруг... приблизилось ли, померещилось старой бабе... старик медленно открыл синеватые ласковые глаза, и до костей иссохшая, восковая рука вдруг осенила вдову крестом. Дворничиха оторопела, испугано шарахнулась, суетливо и мелко закрестилась:

— Господи, помилуй! Господи, помилуй! Господи, помилуй!..

Миновала оторопь, баба присмотрелась к бездыханному, покачала головой в диве: наблазнится же, и опять перекрестилась, прошептав Иисусову молитву.